

**ПЕТР
ВЯЗЕМСКИЙ**

ПИСЬМА ИЗ
ПАРИЖА
(1826-1827)

Петр Андреевич Вяземский

Письма из Парижа (1826-1827)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24502074

Аннотация

«Максимилиан Севастиан Фуа, генерал-лейтенант и депутат во второй представительной палате с 1819 года, скончался 30 ноября 1825 года. Воин и оратор, равно пламенный в любви к отечеству, неизменный обетам своим и неустрашимый на поле кровопролитных сражений и парламентарных прений, он был вождем и опорой сочленов, разделяющих с ним образ мнений политических, и предметом уважения противоборников своих...»

Содержание

Петр Вяземский

Письма из Парижа

(1826-1827)

I

Максимилиан Севастиан Фуа, генерал-лейтенант и депутат во второй представительной палате с 1819 года, скончался 30 ноября 1825 года. Воин и оратор, равно пламенный в любви к отечеству, неизменный обетам своим и неустрашимый на поле кровопролитных сражений и парламентальных прений, он был вождем и опорой сочленов, разделяющих с ним образ мнений политических, и предметом уважения противоборников своих. Рожденный в 1775 году, Фуа рано посвятил себя военной службе и совершил, во время революционной войны, походы с Северной армиею, находившеюся под начальством генерала Дюнурье. После отступления из Бельгии перешел он, в 1793 г., из пешей артиллерии в конную и многократно отличил себя под начальством генералов: Дампиера, Кюстина, Гушара, Журдана и Пишегрю. В июне 1794 года заключен он был в темницу конвентным проконсулом Лебоном, пред коим осмелился с благородною твердостью восставать против свирепого ужаса, царствовавшего во

Франции в сию эпоху. Неминуемая и скорая смерть ожидала его на эшафоте, но счастливый переворот, последовавший 9-го термидора, избавив Францию от кровавого ига, возвратил и Фуа к свободе и деятельности. Начальствуя пятым отрядом 2-го конно-артиллерийского полка, был он в походах 1795, 1796, 1797 годов с армиею Рейнско-Мозельскою, и особенно отличился при переправе через Лех и при взятии Гюнингенского моста, когда, не имея возможности действовать своими артиллерийскими снарядами, отправлял за стены гранаты по рвам, уставленным неприятелем. Переходя постепенно с одного театра войны на другой, отличившись в Швейцарии, в Италии и в Австрии, возвышаясь в воинских успехах и чинах, был он после Амиенского мира произведен в полковники; в 1804 г. поступил в должность начальника главного артиллерийского штаба в Утрехтском лагере. В начале 1807 года был отправлен в Турцию с союзным отрядом 1200 канониров, посланных Наполеоном к султану Селиму. Сей отряд вскоре возвратился во Францию после смятений, вспыхнувших в Оттоманской империи, но полковник Фуа продолжал свой путь и служил в отделе Турецкой армии, предназначенном к защите Дарданелл. В конце 1807 года сражался уже он в Португалии; совершил поход 1808 года и в том же году произведен был в бригадные генералы, и в 1810-м – в дивизионные. В Португалии командовал он по большей части отдельными отрядами, составленными из нескольких дивизий. 22 поля 1812 года прикрывал он отступление армии;

в Саламанкском сражении и на поле битвы принял начальство над всю/которое и сохранил во всех сшибках с неприятелем, до самого приближения к берегу Дуру. После сражения при Виттории, 21-го июня 1813 года, генерал Фуа собрал при Бергаре 20 000 человек, рассеявшихся без начальства и направления, вследствие проигранного сражения. Следующие месяцы были также свидетелями его смелости, решимости и воинских дарований. 27-го февраля 1814 года, получив рану, которую почитал смертельною, был он вынужден сойти с поля битвы. В том же году был назначен главным инспектором инфантерии в 14-й дивизии, а в 1815-м переведен в 12-ую, и наконец в сражении при Ватерлоо заключил свое ратное поприще пятнадцатою раною, полученною им за отечество, которое он обожал выше всего. В 1819 году был он наименован в главные инспекторы инфантерии во 2-й и 16-й дивизиях. Но лучшая награда за заслуги и кровь, пролитую им в сражениях, были для него доверенность сограждан и избрание в члены представительной палаты. На сем новом поприще развились в войне дарования необыкновенные: красноречие мужественное, блестящее и пламенное, познания глубокие по всем предметам управления гражданского и воинского, равно и по предметам хозяйства политического. Как часто, представитель славы Французской армии, увлекал он слушателей порывами благородного негодования и живого участия, защищая выгоды своих сподвижников. Не всегда удавалось ему удерживать за собою победу,

но слова его раздавались во всей Франции и личная слава его заграждала невольным почтением уста противоположников, побеждавших его в свою очередь большинством голосов. Что расстроенное здоровье требовало жизни спокойной и отдыха; но страсть к учению и живое участие, принимаемое им в прениях парламентарных, более и более усиливали признаки его болезненного расположения. И наконец он умер от аневризма в сердце, оставя по себе жену и пятерых детей малолетних.

Я сейчас с его погребения. Никогда не видал я подобного стечения народа. Казалось, все население Парижа стеклось на погребение. Полагают, что более 100 тысяч следовало за гробом к Кладбищу Лашеза, где уже столько же ожидало, не смотря на проливной дождь, который мочил их. Бенжамен-Констан должен был произнести надгробное слово, но по каким-то причинам не мог читать приготовленной речи; Казимир Перье и Терно именем купечества, генерал Миоллис именем армии, Мешен (Méchin) от депутатов, произнесли речи, более или менее красноречивые. Когда Перье кончил речь, народ закричал: честь и слава вечная генералу Фуа! (honneur, honneur éternel au Général Foy!), а при словах: «Франция усыновила бы семейство защитника своего» – (la France adopterait la famille de son défenseur) тысячи голосов откликнулись: «Да, да, Франция усыновляет их!» (Oui, oui, la France l'adopte!)

Фиакр, который привез меня к дому его, сказал мне: «Он

был добрый, честный человек». Сегодня уже во всех лавках портрет Фюа, изображение его на смертном одре, и девица Гэ (Delphine Gay) написала стихи на его смерть, из коих особенно конец мне нравится:

Son bras littéraire dans la tombe est esclave;
Son front par s'est glacé sous le laurier vainqueur,
Et ce signe sacré, cette étoile du brave

Ne sent plus palpiter son coeur.
Hier, quand de ses jours la source fut tarie,
La France, en le voyant sur sa couche étendu,
Implorait un accent de cette voix chérie...
Hélas! au cris plaintif, jeté par la patrie,
C'est la première fois qu'il n'a pas répondu,

Так умеют Франция и поэты её чтить своих героев! Народ стало-быть памятливым, сказал кто-то при сем случае – и память его в сердце! Простите и проч.:

Париж, 30 ноября.

* * *

Приписка. Это письмо и следующие из Парижа писаны просто в Москве. Участвуя в *Телеграфе* хотел я придать этому журналу разнообразие и, так сказать, движение жизни,

которого лишены были тогдашние журналы наши, Я получал много Французских газет, имел в Париже двух-трех друзей, с которыми переписывался и которые передавали мне все свежие новости: из всего этого сообщал я что мог и что хотел и под заглавными буквами имен, например друга моего Григория Римского-Корсакова и других, составлял я свои подложные письма, которые в то время читались с живым любопытством.

III

Six mois en Russie. Lettres écrites à M. X. B. Saintines, en 1826, à l'époque du couronnement de S. M. L'Empereur, par M. Ancelot¹. Шесть месяцев в России. Письма, писанные г-м Ансело, в 1826 году, в эпоху коронации Его Императорского Величества, и проч. Париж, 1827. in 8°.

С той поры, как прочел ты во Французских газетах объ-

¹ Французский молодой поэт, известный трагедиями: *Людовик IX, Палатный Мер* (Le maire du Palais); *Заговор Фиески*, офранцузенным подражанием Шиллеру, и поэмою: *Мария Бранбургская*. Он в числе нынешних хороших стихотворцев Франции и слогом и напевом своим приближается к школе Ламартина. Он приезжал в Россию, в след за посольством герцога Рагузского, и в свидетельство пребывания своего у нас оставил Оду на коронацию. Он сказывал, что пишет трагедию Русского содержания; но на вопросы любопытных никак не мог определить ни эпохи, ни события, ни героя своей драмы. Вероятно, для полнейшей свободы в создании, не хочет он стеснять себя историческими оковами, а уже после приберет и раму и имена для своей картины.

явление о вышедшей книге г-на Ансело, верно не проходило дня, чтобы ты не поминал меня лихом и не говорил с досадою: «а он не присылает этой книги и ничего не пишет о ней. Хорош приятель! хорош корреспондент!» Предчувствую твое нетерпение и пользуюсь первою удобностью, чтобы, хотя задатком, успокоить твое сердце и твою библиографическую жадность. Вероятно нельзя будет доставить тебе эту книгу в Москву. Довольствуйся тем, что я прочел ее и будь сыт моих насыщением или пресыщением. Впрочем, право жалеть тебе нечего. Не подумай, что я, в оправдание малого усердия, хочу отбить в тебе охоту. Нет, с моей стороны нет никакой уловки, никакого злого умысла. Отлагая обвинения и все иносказания, постараюсь тебе дать кое-как понятие о шестимесячном пребывании в России г-на Ансело. Если удастся мне изложить ясно и внятно сущность этой книги, то без сомнения умерю твое нетерпение и неудовольствие на меня. Слушай! Первые пять писем заключают в себе поверхностный отчет в поездке автора от Парижа до Митавы. В них замечателен разве один почтительный отзыв Французского поэта о Гёте. Там следует стихотворение, написанное автором на поле Люцевской битвы. В последних стихах обращение к Наполеону благородно и, кажется, хорошо выражено:

Quand ton sceptre pesait sur le monde asservi,
Quand la France tremblait, ma lyre inexorable
D'un silence obstiné peut-être eut poursuivi
De ton pouvoir sant frein la majesté coupable:

Mais tu connus Pexil et sa longue douleur,
Mais la mort t'a frappé sur un rocher sauvage;
Je te plains, et ma lyre adresse un libre hommage
A la majesté du malheur.

Тут должно заметить откровенное *peut-être*. В царствование Наполеона поэт не был еще известен и нельзя знать, не иначе ли заговорила-бы лира его. От седьмого письма из Петербурга начинаются именно Русские письма. Всего на все в книге их 44, а страниц 422. Большая часть из них посвящена местным описаниям и, так сказать, статистико-топографико-живописным подробностям, как ты и сам уверишься из извлечения оглавлений писем, которое здесь сообщаю: Александро-Невский монастырь, Екатерингоф, Дрожки, Биржа, Арсенал, Царское Село, Погребение Императрицы Елизаветы Алексеевны, Семик, Летний сад, Гулянье в Летнем саду в Духов день (*Fête des mariages*), Императорская библиотека, Кронштадтъ, С.-Петербургская крепость, Собор Петропавловский, Водосвятие, Смольный монастырь, Зимний дворец, Эрмитаж, Вид Петербурга, Казанский собор, Гробница Моро, Острова, Дорога из Петербурга в Москву, Новгород, Валдай (*La Suisse Russe*), Москва, Китай-город, Кремль, Петровское, Цыганы, Судебные места, Тюрьмы, Бородинское поле, Церковь Василия Блаженного, Сухарева башня, Обряд коронации и Описание праздников, данных при этом случае. Все это, должно признаться, за исключением некоторых погрешностей, неуместных замашек уче-

ности, умничанья и либерализма, тем более неуместного, что автор дома совсем не в рядах оппозиции, а либеральничает только в гостях, все это описано довольно верно, прибавим NB, – для путешественника и для Француза; но все бесцветно, и по крайней мере для нас Русских нимало не занимательно и не любопытно. Остальное содержание писем, политическое и нравственное, еще жижее и менее лакомо. Нельзя сказать, чтобы автор, как многие из собратий его, был движим каким-нибудь недоброжелательством к Русскому народу и увлечен предубеждениями против России; но зрение его слабо и близоруко. Говоря о злоупотреблениях, о недостатках наших (и какой-же народ не подвержен им?), он нередко кружится около истины, но не достигает её и не в силах за нее ухватиться. Россия, может быть, отчасти и видна в его книге, но видна как в зеркале тусклом и в тому же с пятнами. В этом отношении вина не автора и Бог простит ему; не каждому даны взор орлиный, ум зоркий и наблюдательный; но каждый образованный и благовоспитанный человек отвечает за личности, когда он себе их дозволяет. В этом отношении г-н Ансело иногда отступает от законов общежития и тем оскорбил не Русских, которые недоступны оскорблениям г-на Ансело, но своих сограждан и товарищей путешествия своего, хотя и говорит в предисловии, что он не числился при посольстве герцога Рагузского и что наблюдения его, неизвестные членам посольства, принадлежат ему одному, что один он за них отвечает. Вероятно, это официаль-

ная уловка; но в чужия дела и отношения мешаться нам не следует.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы автор худо помнил хлеб-соль, по крайней мере, авторскую. 8-е письмо содержит благодарное описание обеда, данного ему г-м Гречем.

«Несколько Русских литераторов», говорит он, «узнав о приезде моем в Петербург, хотели доказать мне, что Музы сестры, и я за несколько счастливых минут обязан их дружелюбному гостеприимству. Русский литератор, г-н Греч, один из библиотекарей Императорских, ученый филолог, сочинитель грамматики, которая имеет законную силу в России (*fait autorité en Russie*), хотя и не была еще вполне издана, и редактор лучшего журнала в империи, *Северной Пчелы*, дал вчера большой обед, на коем присутствовали все отличные литераторы, находящиеся ныне в Петербурге, Тут видел я г-на Крылова, который прелестным комедиям, а более еще басням своим обязан за известность Европейскую; его прозвали Русским Лафонтеном, и в самом деле – в творениях его находим простосердечие, прелесть, придающие ему некоторое сходство с нашим бессмертным добряком. В свете имеет он какую-то молчаливую рассеянность, которая довершает сходство и оправдывает его славное прозвание. Г-н Бургарин (*Bourgarine*), сотрудник г-на Греча ², человек ума весьма замечательного (*d'un esprit des plus remarquables*), он занимается ныне сочинением, коего отрывки, уже напе-

² Уж не г-н Булгарин-ли?

чатанные, приняты были с большим успехом; его прозвание Русский Жилблаз ³. Цель сочинения – описание нравов и обычаев разных областей Русского народа; ожидают здесь книгу эту с большим нетерпением, и если позволено заранее судить о достоинстве сочинения по разговору автора, то можно сказать утвердительно, что в отношении оригинальности картин, тонкости и остроумия наблюдений сия книга вполне удовлетворит ожиданиям.

Возле меня сидели за столом: г-н Лобанов, которому Русский театр одолжен переводами *Федры* и *Ифигении* и ныне готовящий переводы *Аталли* и *Британника*) г-н Измайлов, уважаемый баснописец; г-н Сомов (Soumoff), коего талант показывается с блеском, и граф Толстой, искусный рещик на медалях.

Кроме уже названных, собрание составлено было из поэтов, ученых и грамматиков ⁴. Предлагали заздравные тосты в честь литературы Французской старшей и любезнейшей сестры литературы Русской (*la soeur ainée et bien aimée de la littérature Russe*), в честь Императора Николая I-го, который благотворением, истинно достойным великого Царя, почтил словесность в лице г-на Карамзина. – В конце обеда пили за здоровье г-на Жуковского, одного из лучших нынешних по-

³ Не Польский-ли Жилблаз?

⁴ Жаль, что грамматика г-на Греча и господя Русские грамматика до сей поры более известны г-ну Ансело, чем нам. Не знаем, что за угощение было за этим обедом, но мы пока сидим еще натошак, без Русской грамматика г-на Греча и без Русского грамматика.

этов Русских».

Вообще автор довольно справедлив и благосклонен в суждениях своих о наших поэтах, женщинах и простолюдинах. И за то ему спасибо! О таланте Александра Пушкина отзывается он с уважением и жалеет, что не удалось ему познакомиться с поэтом. В книге своей предлагает он перевод, прозою, но довольно верною и красивою, *Светланы Жуковского*, *Череп*, сочинения Баратынского, отрывка из *Поллярной Звезды* и другого стихотворения неизданного. Говоря о Баратынском, жалует он его в князя (le jeune prince E. Varatinsky), но за то, с другой стороны, разжалывает его еще неуместнее в подражатели Французских нововведений. Перед переводом стихотворения: *Череп*, сказывает, что «оно уважается Русскими, которые начинают ныне перенимать у нас нашу недавнюю любовь в грезам поэтическим, мистическим и наркотическим (снотворным), коими мы преисполнены». В подлиннике нет ничего мистического, а еще менее наркотического. *Череп*, предмет философический и поэтический; подобное нововведение существует на земле со смерти Авеля, первого известного мертвеца. Но Французу нельзя не похвастать и не обращать всего к Французам. Мельком он и строго судит нашу литературу, но и тут не без основания. «Не должно», говорит он, «требовать хода (allure) оригинального и свободного от литературы Русской: в ней упражняются люди, коих воспитание иноплеменное; образованность, понятия и самый язык заимствованы у

Франции, и следовательно она не может быть иначе, как литература подражательная. Доныне она неотступно повторяла формы, физиогномию и даже предразсудки нашей. С некоторого времени Русские поэты, кажется, хотят отходить от классических образцов и искать образцы свои в Германии, но и в этом они только вам подражают». В начале суждения есть, как ни говори, много справедливого; но в последних словах опять выходка Французского самохвальства. Мы еще с Карамзина ознакомились с Немецкою литературою, а с Жуковского принялись за нее. Французы же услышали о Немецких авторах только с появления книги г-жи Сталь о *Германии*. То, что путешественник говорит о женском поле в России, заслуживает, по моему мнению, безусловное одобрение. Вот слова его: «Некоторые путешественники, а именно автор *Тайных Записок о России* донесли Европе о невежестве Русских женщин: не знаю, были ли авторы беспристрастны в свое время, но ныне я с ними не согласен. Пользуясь правами, присвоенными званию моему иностранца, я не один раз переходил за между разграничения, проведенного между обоими полами (выше автор замечает, что в гостиных и столовых наших оба пола не сходятся); я разговаривал с этими женщинами, обвиненными в невежестве, и, по большей части, находил у них сведения разнообразные, соединенные с необыкновенною тонкостию ума, познания нередко глубокия во многих литературах Европейских и прелесть выражения, которой могли бы позавидовать мно-

гие Француженки. Особливо же между молодыми сии качества блистательнее обнаруживаются: это доказывает, что с прошедшего столетия образование женщин в России приняло новое направление, и что справедливое лет тридцать тому перестает ныне походить на правду.

Часто в Петербурге встречаешь девиц, с равною свободою изъясняющихся на языках: Французском, Немецком, Английском и Русском; я могу назвать таких, которые пишут на сих языках слогом замечательным по необыкновенной исправности и красивости ⁵. Обширность этих познаний, это превосходство нравственное объясняют, может быть, причину одиночества, в котором молодые люди оставляют их в обществе и нежелание их сближаться с ними (*et la répugnance qu'ils éprouvent à se rapprocher d'elles.*)».

Я рад, что иностранец гласно призвал превосходство образованности женского пола над нашим в России. Я всегда был этого мнения и уверен, что наши светские общества холодны и безжизненны от нашей братии. Если просвещение наших женщин и не утверждено на глубоких и прочных основаниях, то, по крайней мере, согласиться должно, что изящные искусства, чтение иностранных книг и отечественных, сколько их есть, входят в число любимых занятий нового поколения, И если молодые девицы, поступив в звание супруг, часто менее внимательны к сим просвещенным по-

⁵ Положим, что автор мог судить о степени сведений их в трех языках; но как же берется он судить и о познании их в Русском языке?

требностям, то, по большей части, виноваты мужья, которые не умеют ни поддерживать, ни ценить благородных склонностей подруг своих. Ты скажешь мне: «хорошо тебе за глаза обвинять своих товарищей, думая, что, за отсутствием, ты изъемишься из общего приговора». Нет! когда я был и на лицо, всегда признавал преимущество женщин над нами, и, право, не из одной любви к ним, а из любви бескорыстной и в истине. Я довольно ездил по России, живал и в губернских и в уездных городах, и везде находил, без всякого лицепрятия, что сумма, какова бы она ни была, мыслей, утонченных чувств, образованности и сведений перетянет всегда к стороне женской. Впрочем, Французские писатели и прошлого столетия были несправедливы в отзывах своих о Русских женщинах. Царствование Екатерины должно было иметь и вполне имело влияние на умственное образование Русской женщины. Женские воспитательные учреждения, пользовавшиеся особенным покровительством и заботливым сочувствием Императрицы, были рассадниками образованных женщин. Имена некоторых из них поминаются с уважением и похвалою в *мемуарах* и переписках многих Европейских писателей.

Не знаю, как ты и вы все, господа столичные, но я готов многое простить автору за отзыв его о нашем простом народе. Почти все путешественники кадили некоторым вершинам нашего политического общества, чтобы потом безнаказанно и смелее бить по нижним рядам своею предательскою

кадильницею. Г-н Ансело не подражал им, и вот некоторые черты из его характеристики Русских простолюдинов.

Более всего с первого взгляда иностранец удивляется в Русском крестьянине презрению опасности, которое он почерпает в чувстве силы и ловкости своей. За него испугавшись, вы указываете на беду; он улыбается и отвечает вам: *небось!* Это слово у него всегда на языке: оно знаменует неустрашимость, твердое основание характера его. Догадливые и услужливые Русские крестьяне прилагают все способности свои, чтобы понять вас и вам услужить: несколько слов достаточны иностранцу для объяснения мысли своей Русскому крестьянину, который, устремя глаза свои на ваши, угадывает ваши желания и спешит им угодить. Ничто так поразительно не удивляет вас, как отменная вежливость, которая отличает этих простолюдинов и являет странную противоположность с их дикими лицами и грубою одеждою: не только говоря с высшими, употребляют они учтивые поговорки, которых не слышишь во Франции, среди низших званий, но и между собою приводят они их при каждом случае: встречаясь, они снимают шляпу друг перед другом и кланяются с учтивостью, которая, казалось бы, должна быть плодом воспитания, а у них она следствие природной благосклонности. На каждом шагу иностранец на улице встречает примеры этой общежительности, свойственной Русскому народу; всегда ласковым словом остерегают прохожого и вместо грубого «прочь, посторонись» (*gare!*), которым при-

ветствует вас наш носильщик и часто после того, как уже свалит вас с ног, здесь слышите вы: «барин! остерегитесь! и проч.»⁶.

Далее приводит он примеры мастерства и проворства Русского работника, который один с топором своим заменяет нередко целую артель мастеровых, вооруженных разными орудиями. Вот чем довершает он свои наблюдения: «Знаю, что и у Француза найдешь готовность услужить; но, рассматривая пристально оба народа, замечаешь ощутительную разницу в свойстве их услужливости. Француз, помогая вам, следует своей природной живости, и вы, приемля от него услугу, видите по важности, которую он придает ей, что он знает её цену: Русский одождает вас по природному побуждению и по чувству религиозному. Один исполняет обязанность, возлагаемую общежитием, другой долг любви христианской. Честь, сия добродетель народов образованных, вместе и побуждение и возмездие первого; другой и не помышляет о достоинстве своего поступка; он делает просто, что другие делали бы на его месте, и не понимает возможности поступить иначе. Если дело идет о спасении человека, Француз видит опасность и предается ей; Русский видит перед собою одного несчастного, готового погибнуть: смелость одного обдуманная; неустрашимость другого в его природе». Под Французским пером замечательны также наблюдения бес-

⁶ Г-жа Стал в своем десятилетнем изгнании отзывалась также похвально о вежливости и радушии нашего крестьянина.

пристрастные о нашем Русско-Французском воспитании. Говоря, что язык Французский сделался для нас потребностью, что вообще молодежь образуется Французскими наставниками, он прибавляет: «Наше народное честолюбие должно, конечно, быть довольно этою данью уважения, платимую нашему языку, нашим нравам, нашей литтературе; но, рассматривая сию систему глазом философическим, не найдешь ли в ней много важных неудобств? расстояние, разделяющее высшие звания общества от того, которое называется народом, непомерно. Образ воспитания, предназначенный для молодых бар, не увеличивает ли еще сего расстояния? Не уничтожает ли оно все сношения между ними и званиями нижними? Обделка ума, чувства, язык, обычаи, все различно. И притом, иностранные наставники могут ли внушить воспитанникам любовь к отечеству? Могут ли они образовать Русских? Не полагаю, и смею думать, что истинный патриотизм должно искать в одном народе. Кажется, правительство убедилось в этом неудобстве и говорит о скором учреждении Императорских учебных заведений, в которых основы воспитания будут в лучшем согласии с нравами, законами и постановлениями России».

Добросовестно показав тебе некоторые хорошие черты из книги г-на Ансело, жаль мне, что я должен по той же добросовестности изложить перед тобою недостатки и погрешности его. Путешественники любят давать мнениям и замечаниям своим объемы общие. Известен анекдот о Францу-

зе, который, проезжая через Немецкий городок, остановился в гостиннице для перемены лошадей и, увидя в ней рыжую хозяйку, которая была мальчика, записал в своей путевой книжке: «В здешнем городе женщины рыжи и злы». Этот анекдот может быть применен и в нашем путешественнике. Случалось ли ему, что в каком-нибудь Русском доме принят он был хуже в следующие разы, чем в первый, он тотчас вносит в свой журнал определение: «Русский начинает с того, что оказывается вашим искренним другом, скоро вы становитесь простым знакомцем, и тем кончится, что он перестанет вам кланяться». Положим, что автор испытал это на деле; не станем разбирать, кто виноват в этом, хозяин ли, или гость; но за чем же, если г-н Ансело напал на Русского, или даже на несколько Русских, которые не умели или не хотели поддержать вежливость и предупредительность, оказанные с первого приема иностранцу, заочно знакомому им по литературному имени его, за чем же сейчас подводить всех иностранцев и всех Русских под один общий итог? Надеюсь, не столько для чести Русских, сколько для собственной чести автора, что и он в шестимесячном пребывании у нас умел сохранить знакомцев, которые кланялись ему до конца.

Ребячество некоторых наблюдений его доходит до невероятности. Описывая Эрмитаж и упомянув о библиотеке Вольтеровой, в нем хранящейся и которой он не видал в подробности, за отсутствием того, у коего хранился ключ от неё, говорит он с забавною важностью: «Не могу припи-

сать неблагосклонности путеводаителя своего, или данным ему приказаниям, лишение, о воем сожалею, но тот, кому поручено хранение сих книгъ, был в отлучке и никто не мог и не хотел бы взять на себя должность, на другого возложенную. Подобное неудобство встречается в России ежеминутно: в общественных ли заведениях, в частных ли домах, каждый имеет свою долю занятия и ответственности, за которые не переступает. Таким образом случилось мне однажды у знатного барина не допроситься стакана воды с сахаром, потому что человека, смотрящего за буфетом, не было, а между тех в самом доме насчитаешь до сотни служителей».

Что мудреного, что ключ от библиотеки Вольтеровой хранится в руках человека именно в ней приставленного и что другие должностные лица не взялись из угождения г-ну Ансело выломать замки книжных шкафов? Что же касается до другого примера, приведенного автором, то нельзя ли истолковать его следующею гипотезою: Наш путешественник – поэт; Французские поэты любят читать стихи свои; Француз не иначе примется за чтение вслух, как поставив перед собою графин с водою, стакан и сахар. Хозяин дома, в котором автор имел эту неудачу, может быть, не охотник до стихов вообще, или в особенности до стихов г-на Ансело, и для избежания чтения, ему угрожающего, он свалил беду на оплошного буфетчика. В этом случае сказать можно: *les absens ont tort, mais les présents avoient peut être raison.*

Некоторые из анекдотов, им рассказываемых, как и на-

блюдения его, отзываются каким-то малолетством, довольно странным в литераторе, известном во Франции и довольно выгодно. Анекдоты его не любопытны и не верны. И тут вертится он около истины, но она ему не дается. Говоря например о строгости цензуры нашей, рассказывает он, что кто-то из Русских хотел издать путешествие свое во Францию в 1812 году, что цензура одобрила книгу, но с требованием, чтобы имя Франции было везде в ней заменено именем Англии, потому что Русскому неприлично признаться, что он в 1812 году путешествовал во Франции. Верим, что автор не выдумал этой нелепой сказки; но жалеем о нем, что он мог ей поверить, а еще более о том, который ему передал ее. В другом месте рассказывает он, что какой-то вор подменил пуком пустых бумажек пук ассигнаций, данных епископу за обряд бракосочетания. В таком плутовстве, если оно и было, нет ничего особенно замечательного, да и к тому же у нас епископы не венчают на брак. Книга кончается стихотворением: *Воробьевы горы*; тут более всего поэзии в свободе, с которою поэт переносит эту гору с места на место, То она очутится у него за заставою по Владимирской дороге, и тогда ведет в Сибирь; то она за Дорогомиловскою, и тогда представлен на ней Наполеон, приближающийся с войском к Москве и ожидающий на ней депутатов с городскими ключами.

Довольно ли тебе этих выписок? Право, не из лени, не по недостатку ограничиваюсь ими. Если тебе этого мало, то, пожалуй, целиком выпишу несколько писем и доставлю тебе

при случае. Эта книга такого рода, что нечему в ней радоваться, ни сердиться не за что. Настоящий стакан воды: при-
мешься за нее от жажды, проглотишь и никакого вкуса, ника-
кого отзыва в тебе не останется; разве на дне отстоятся кой-
какие соринки. Нет нам счастья на пишущих путешествен-
ников. По большей части, все напечатанное иностранцами о
России составлено из пустяков, лживых рассказов и ложных
заклучений. Впрочем, мы также с своей стороны не правы в
неосновательных суждениях о нас Европейских гостей. Они
не умеют смотреть на Россию, а мы не умеем ее показывать.
Мы сами худо знаем свое отечество и превратным образом
обращаем на него взгляды иностранцев. Угощая приезжих
Россиею, многие из нас спешат выказывать им все подлежа-
щее осуждению, чтобы такого уловкою явить в себе изъятие
из общего правила. Таить погрешности свои не нужно; но
указывайте на них с патриотическим соболезнаванием, а не
по расчету личной суетности. Я, признаюсь, был бы рад най-
ти в иностранце строгого наблюдателя и судию нашего на-
родного быта: со стороны можно видеть яснее и ценить бес-
пристрастнее. От строгих, но добросовестных, наблюдений
постороннего могли бы мы научиться; но от глупых насме-
шек, от беспрестанных улик, устремленных всегда на один
лад и по одному направлению, от поверхностных указаний,
ничему не научишься. Многие признают за патриотизм без-
условную похвалу всему, что свое. Тюрго называл это ла-
кейским патриотизмом, *du patriotisme d'antichambre*. У нас

можно бы его назвать квасным патриотизмом ⁷. Я полагаю, что любовь к отечеству должна быть слепа в жертвованиях ему, но не в тщеславном самодовольстве; в эту любовь может входить и ненависть. Какой патриот, какому народу ни принадлежал бы он, не хотел бы выдрать несколько страниц из истории отечественной и не кипел негодованием, видя предразсудки и пороки, свойственные его согражданам? Истинная любовь ревнива и взыскательна. Равнодушный всем доволен, но что от него пользы? бесстрастный в чувстве, он бесстрастен и в действии. Но повторяю: можно ли дожидаться нам от иностранца хорошей книги о России, которую видит он или из коляски, или знает по наслышке из речей людей, знающих ее также поверхностно и худо.

IV

Six mois suffisent-ils pour connaître un pays? ou observations sur l'ouvrage de M-r Anceiot, intitulé: Six mois en Russie, par J. T-y. A Paris. 1827. (Довольно ли шести месяцев, чтобы узнать государство? или замечания на книгу г-на Ансело: Шесть месяцев в России. Писано Я. Т...⁸ Париж. 1827).

⁷ Здесь в первый раз явилось это шуточное определение, которое после так часто употреблялось и употребляется.

⁸ Яков Николаевич Толстой. Он много лет был в Париже агентом вашего министерства народного просвещения. В молодости был он приятель Пушкина. Все Русские, посещавшие Париж, находили в нем усердного и много сведущего путеводителя. Он во многом совершенно *опарижился*, но оставался Русским до

Вскоре после отправления к тебе письма моего о книге г-на Ансело, вышло в Париже возражение на нее, писанное соотечественником нашим, который только намекнул о имени своем, но однакоже достаточно, чтобы узнать его. Он уже не в первый раз подает в Париже Русский голос по нашим литературным делам. Он защитил Крылова от несправедливых обвинений Французских критиков по случаю тяжбы, в которую заташил нас горе-доброхот наш Дюпре де-Сен-Мор (сущий *мор* для некоторых Русских поэтов); он протестовал против лжеисторических определений Альфонса Раббе, известного здесь Сокращением Русской истории (*Résumé de l'histoire de Russie*) и Историю Александра I, писанною уже по кончине Императора; сверх того, он известен, вероятно, и у вас по Русскому каламбуру, отпущенному в Париже на его имя⁹. Мы должны быть признательны нашему соотечественнику за хождение его по нашим делам и радоваться, что наконец нашелся у нас генеральный консул по Русской литературе; спасибо ему, что он не дает нас беззащитно в обиду иностранцам. До сей поры мы были вне общего закона (*hors la loi*) и никакая власть не охраняла нашей личной

сердцевины, до мозга костей своих.

⁹ Г-н Рааб написал, что родоначальники наши – не Славяне, *Slaves*, а Есклавоны, *Esclavons*, то есть *esclave*, и что потому мы происходим от *рабов*, *esclaves*. Ему отвечали, что скорее он рабского происхождения, потому что имя его совершенно Русское, *раб*. Это напоминает фразу другого Француза: *Moscou improprement nommée par les Russes Moskwa*.

безопасности. Каждый мог смело преследовать нас ложными доносами перед судом всемирным, лишать нас собственности, даже весьма часто лишать живота, как то бывает с Русскими авторами, переводимыми, или изводимыми разными переводчиками *Лудо-Морами*. Теперь хотя есть кому замолвить об нас доброе слово в защиту, или за упокой. Пожелаем нашему усердному заступнику счастливого продолжения исполнения добровольной обязанности и уполномочим его ох лица грамотной России – отстаивать нашу честь и наши выгоды от притязаний Европейских грамотеев. Мне жаль, что возражение не ранее попало мне в руки: оно избавило бы меня от лишнего труда, ограничивая заботу мою одними выписками, потому что я почти во всем согласен с возразителем, Познакомлю тебя с образом мнений его и вместе с тем довершу твое знакомство с г-м Ансело. Если можно узнать человека и книгу заочно, то надеюсь, что ты после вторичного исследования будешь доволен.

Вступление нашего соотечественника следующее: «Довольно ли шести месяцев, чтобы узнать государство?» «Вот запрос, который я себе задал, читая „*Шесть месяцев в России* г-на Ансело“. Сознавшись, что трудно написать книгу, особливо же во время поспешного объезда, о государстве, так много оклеветанном, я должен был убедиться, что сия самая поспешность повлекла в разные заблуждения, которые намерен я выказать и в пользу истины и в удовлетворение желанию некоторых особ, требовавших мнения моего об этой

книге. Постараюсь быть кратким и внятнм как для Французов, так и для Русских. Пройду молчанием подробности поездки г-на Ансело; не последую за ним на поле Люценской битвы, ни по песчаным дорогам Пруссии; но дождусь его в Петербурге, поеду с ним в Москву, и его шестимесячным воспоминаниям я противопоставлю опытность тридцатилетнего пребывания в государстве, им описанном, и Русское уродение свое, которое не побудит меня быть неблагодарным, ни несправедливым против него. К замечаниям его приложу свои, в надежде, что он признает истину оных и воспользуется ими во втором издании».

Здесь заметил бы я только, что автор возражения не совершенно правильно изложил свой вопрос. Должно бы, непременно, вместо собирательного слова: государство, употребить собственное имя: Россия; потому что о всякой другой Европейской области можно бы отвечать, что шести месяцев и довольно и нет. Довольно, чтобы собрать из верных источников, поверенных собственными наблюдениями, сведения любопытные о чужой земле; не довольно, если мы хотим изучить народ, быт его, нравы, все причины настоящего положения его, все ожидания в будущем и проч. и проч. Дело в том, кому и как смотреть. Одна Россия не входит в общий порядок, ибо не только древняя быль, но и настоящая повесть её писана под титлами для всякого иностранца и для многих Русских. Францию, Италию, Германию может прочесть бегло, как по писанному, иностранный путе-

шественник, Русские поговорки, руссицизмы для него будут тарабарскою грамотою; но кто из образованных Европейцев, настроенных на общий лад Европеизма, не понимает Итальянских кончетти, Французских каламбуров и даже Немецкого мистицизма, хотя и готическими буквами напечатанного? Одна Англия, по островитянинскому наречию своему, писана не про всех континентальных жителей; но все Россия и её гораздо мудренее. Понимаешь ли меня? А я себя понимаю. Впрочем, можно применить к познанию государств сказанное Вольтером о познании языков: довольно некоторого срочного времени, чтобы научиться всем иностранным языкам; мало всей жизни, чтобы научиться своему. Французские путешественники тем отличаются от других, что приезжают они в чужой край, а особенно в Российский, не как любознательные изыскатели, или ученики, чтобы чему-нибудь новому научиться: нет, они являются магистрами, профессорами, уполномоченными судиями, чтобы провозгласить над странною, над народом свой приговор, давно уже ими заочно составленный. Стоит только применить этот приговор к заранее осужденному: и дело с концом, и книга написана. Извини меня за отступление. Но вольно же тебе вводить меня в речь, то-есть в соблазн. Ты знаешь, как меня всегда кидает по сторонам. Возвращусь на прямую дорогу и скажу, как наш автор: постараюсь быть кратким и внятным как для Французов, так и для Русских. Только вряд ли?

Касаюсь замечания Французского автора, что Петербург обратился бы в простой торговый порт, если бы Двор перенес свою столицу в другое место империи, возразитель говорит: воспользуюсь этим случаем для оправдания Петра Великого в укоризне, беспрестанно на него устремленной за то, что он в Петербурге основал свою столицу: «сей город, говорят, удаленный от средоточия империи, никогда не *онародуется* (не позволишь ли мне, Парижскому неологу, так перевести выражение: *se nationaliser*); к тому же, он подвержен гибельным наводнениям». Соглашаясь в сем последнем отношении, скажу, что в России достоверно доказано актами, изданными Петром II-м, и частными письмами его, что он предполагал иметь только временное пребывание свое в Петербурге, чтобы присутствием своим и поощрениями содействовать успехам нашего мореходства, а настоящую столицу империи думал заложить в Нижнем-Новгороде. Но смуты, которые в последствии ознаменовали разные царствования преемников Петра I, могли одни удалить совершение сего предположения. Между тем Петербург возрастал, украшался и время утвердило за ним почетное имя столицы, данное ему только временно при начале. Сей запрос был рассматриваем весьма рассудительно г-м Геро в статье: О наводнении в Петербурге (*Revue Encyclopédique*, Т. XXV, р. 245–250).

Говоря об описании литературного обеда, данного г-ну Ансело в Петербурге, Русский автор указывает на противоречие Французского путешественника. Сперва сей послед-

ний говорят с справедливым уважением о чувстве общей радости, произведенной наградой, данную Государем Карамзину; далее, упоминая о погребении его, прибавляет он: справедливые почести были возданы ему; но сии почести, должно признаться, были обращены не столько к знаменитому писателю, сколько к тайному советнику, не столько к историку, сколько к государственному историографу. Кроме противоречия с прежними словами путешественника, Русский автор выводит и ложность подобного заключения, замечая, во-первых, что «Карамзин, в иерархии чинов, был не тайный, а действительный статский советник, что часто умирают особы этого чина, и еще важнейшего, но без ведома публики, которая не только не спешит почтить их данью уважения, но даже и внимания».

Замечая несбыточность анекдота о цензоре, говорит он, что какова-бы ни была строгость *таможенников человеческого ума* (*douaniers de l'intelligence humaine*), но не менее того цензоры у нас назначаются из профессоров и словесников и что ни один из них не мог-бы требовать от автора перемены, о которой Французский путешественник упоминает. «Кто бы ни был этот цензор», прибавляет возразитель, «но все понял бы он, что путешественник, который в письмах своих стал-бы говорить: *я приехал в Лондон и остановился в улице Риволи, против Тюльерийского сада, ходил по Пале-Роялю; видел императора Наполеона* и проч., – был-бы признан за беглеца из желтого дома».

Девятое письмо г-на Ансело так начинается: «*Кому неизвестно, мой любезный Ксавье, что Русский народ суевернейший из всех народов*». «Исповедую неведение свое в этом отношении», говорит наш соотечественник. «Я доселе думал, что Испанцы и Итальянцы могли похвастаться этим жалким преимуществом». И против доказательств, приводимых путешественником, как-то: что Русский никогда не пройдет мимо образа и церкви, не сняв шляпы и не перекрестившись, наш соотечественник рассказывает о том, что видел в Италии: «там на распятии, стоящем посреди Колизея, вывешено об явление, что кто шесть раз приложится к этому кресту, тот выиграет 200 дней отпущения».

К словам Французского и Русского авторов можно прибавить, что народ наш, конечно, суеверен, но дело в том, что суеверие его заключается в некоторых обычаях, а не застраховано, так сказать, святостью религии, и потому безвреднее. Что-же касается до уважения Русского в предметах святости, то можно привести в пример *суеверного* Ньютона, который всегда обнажал голову, когда произносил имя Бога.

«Нередко», продолжает г-н Ансело, «слышишь в церкви, как человек благодарит чудотворца Николая за покровительство его в совершении покражи невидимо». Русский автор выводит на свежую воду и эту небылицу, замечая, между прочим, что в наших церквах вслух не молятся. Другие доказательства г-на Ансело в суеверии Русском испровержены с равным успехом. Несообразности путешественника под-

тверждаются у него всегда свидетельством людей достойных веры, людей добросовестных (des personnes dignes de foi, de bonne foi); наш соотечественник смеется мимоходом над легковерием Француза, который доверял людям, желавшим, по видимому, посмеяться над ним.

В замечаниях своих на замечания г-на Ансело о Русском обществе, о разводе, размежевании обоих полов и проч. мы несколько разнимся с возразителем. Он соглашается в образованности Русских женщин, но отстаивает и нашу братью от обвинений Французских. «Если мужчины», говорить он, «страшились бы точно быть в сношениях с женщинами, опасались их превосходства, то не было бы более свадеб, мужья бегали бы от жен, братья от сестер и проч. и желающие вступить в брак были бы принуждены ехать в Париж и прибегать в посредству знаменитого г-на Вильома»¹⁰.

Возразитель остроумно отшучивается, но, признаюсь, остаюсь при своем мнении впредь до решения дела.

Говоря о ранних женитьбах крестьян Русских, будто по приказанию и для выгод помещиков, Французский автор, по свидетельству тоже добросовестного человека, прибавляет, что это злоупотребление влечет за собою злоупотребление еще ужаснейшее, которое он, не обинуясь, распространяет и на весь народ. Русский автор сильно восстает против этого

¹⁰ Этот г-н Вильом держит род справочной свадебной адрес-конторы в Монмартрской улице в Париже, и таим образом заведением публичным заменяет наших частных свах.

злонамеренного предположения, говоря: «вот, правило, основанное на чудовищном исключении, которое никак нельзя приписывать всей нации, ибо в таком предположении должно бы допустить ужасную безнравственность в помещиках и отступление религии, с совершенным развратом нравов в крестьянах».

Возражение справедливо; но должно признаться, что браки между крестьянами совершаются у нас весьма рано, вопреки постановлениям правительства и в ущерб успехам народонаселения, следовательно и выгодам самих семейств.

На следующих страницах Русский автор изобличает ошибки, в которые впал Французский, а именно, говоря о запрещении Жидам селиться в Великороссийских губерниях, о разделении дворянства нашего на 14 классов, замечая, что не дворянство, а чиновное таким образом разделяется; о множестве раскольников, находящихся в полках наших. Мимоходом, и всегда кстати, он указывает на несправедливые или неосновательные выходки Французского путешественника, например: на замечания его о скором охлаждении Русских вельмож в сношениях их с чужестранцами, говоря, что когда иностранец встречает людей такого свойства, он не должен-бы придавать всеобщности мнению, которое они вселяют, но причислять их к хвастливым ветрогонам (fats), которые встречаются во всех нациях; на охотные повторения Француза о кнуте, который, по словам возразителя, виден в России только в руках палача, но доволь-

но часто в книге г-на Ансело; на забавное опасение путешественника, который дрожал за добродетель свою, сильно угроженную в Валдае прелестями торговок баранками; на рассказы его о Цыганах и приписание Русскому языку Французского выражения, совершенно ему чуждого: проесть имение свое, *manger sa fortune* – галлицизм; у нас говорится прожить, промотать, проиграть свое имение. Не так-ли? Последнее выражение есть преимущественно коренной руссизм, часто употребляемый в обществе нашем. Опровергая замечания путешественника, что в военном воспитании нашем обучение унтер-офицеров и солдат превосходит обучение офицерское, он весьма кстати напоминает ему, что барон Дамас, нынешний министр иностранных дел во Франции, есть бывший воспитанник одного из С.-Петербургских кадетских корпусов.

Приводя описание, составленное г-м Ансело о беспорядках, случившихся во время народного праздника в Москве, наш соотечественник говорит: «картина живописная, и ей в пару нахожу только одну: раздачу, производимую на Елисейских полях в Париже, когда выдают съестные припасы народу, который за ними кидается в грязь или пыль и руками и ногами бьется, вырывая добычу друг у друга. Думаю, что снаряды поливных труб были бы не лишними при этом зрелище. Театральные представления даровые в Париже ознаменованы отпечатком, почти столь-же диким: дело в том, что чернь везде чернь».

Выпишу еще кое-что из главнейших возражений, в коих наш соотечественник хладнокровно, но сильно и благородно оспаривает своего противоборника.

В письме 26-м, пишет он, г-н Ансело, прощаясь с Петербургом, посещает Казанский собор и, видя трофеи, разложенные в этом храме, заключает, что тщеславие (*la vanité*) из всех слабостей человеческих более других свойственно Русскому народу, и что Русский, говоря иностранцу о памятниках отечества своего, не скажет никогда: это прекрасно! (*ceci est une belle chose*), но всегда: ничего нет этого прекраснее в мире! (*c'est la plus belle chose du monde!*) Можно ли так легко выводить из поговорки, маловажной по себе самой, заключение против целой нации и выдавать ей грамоту на тщеславие и суетность по таким ничтожным доказательствам? Правда, автор приводит далее важнейшую укоризну. Жезл маршала Даву, говорил он, был сокрыт в одном из фургонов его, оставленных по приказанию маршала. Должно ли величаться трофеем, которым обязаны забвению? Но нельзя ли также рассмотреть это иначе. Два народа воюют один против другого; фельдмаршальский жезл, принадлежащий войскам одного из них, падает из руки врага, каким бы образом ни было; не естественно ли выставить его как трофей? Хотят ли примеров? История воинских походов изобилует ими. Наполеон, находясь в Берлине и уже в благоприятнейших сношениях с королем Прусским, вывез шпагу и орденскую ленту Фридриха великого, чтобы выста-

вить эти трофеи в доме инвалидов. Не ужь-ли фельдмаршал Кутузов должен был отослать жезл фельдмаршалу Даву с извинением, что осмелился захватить его? Что касается до городов, от коих Россия оставила у себя ключи, то нет сомнения, что города эти были осаждены, не смотря на слова г-на Ансело: Данциг, Гамбург защищались Французскими гарнизонами и, конечно, были с воротами. Гарнизон защищался даже с героическим бесстрашием и я был тому свидетелем. Если мы не боялись бы отплачивать г-ну Ансело, то заметили бы ему, что никогда не слыхать в России похвал нашему воинству в припевах водевильных; что у нас нет ни улиц, ни мостов, украшенных именами побед, одержанных Русскими войсками. Но я лучше люблю призвать в свидетельство Французских воинов, сражавшихся с Русскими; если они не откажут им в справедливости заслуженной, то без сомнения признают их храбрость с тою же добросовестностью, с какою Русские почитают Французские войска храбрейшими из всех тех, против коих сражались.

Путешественник говорит: «злодейства редки в России, потому что умеренное кровообращение не возжигает сильных страстей и потому что различные состояния общества, отделенные друг от друга, не бывают подвергаемы сей стычке выгод, честолюбий обманутых, самолюбий уязвленных, которые заставляют умы кипеть в странах, где звания сближаются и мешаются». – «Разсматривая сей запрос», изъясняет возразитель, «нахожу, что преступления важнейшие и ча-

ще встречаемые совершаются с умыслом, следовательно быстрое обращение крови не причиняет преступлений; все злодеяния, совершаемые в минуту исступления, отнесены правоведами в категорию ниже первых и не подвергают даже во Франции смертной казни. Что же касается до последней части рассуждения г-на Ансело, могу, кажется, отвечать, что нельзя приписывать соприкосновению, в коем находятся различные знания общества, стычку личных выгод и побуждение к преступлениям. Убийства совершаются по большей части из побуждений ненависти, мщения, или корыстолюбия. Следовательно, где же бы чаще, как не в России, должны они случаться, посреди сих переходящих сношений между слабым и сильным, бедным и богатым, рабом и господином?

Для определения истинной причины редкости злодеяний в России, надлежало бы прожить несколько лет в губернии, удаленной от столицы: тут беспристрастный наблюдатель мог бы увериться, что Русский крестьянин, только по виду суровый и дикий, на самом деле добродушен, нравом кроток, исполнен благочестия, основанного на Евангельском учении. В подтверждение этому мнению, мы приведем размышление, весьма остроумное, г-на Ансело об образе набора войск, удаляющего негодяев из деревень: это без сомнения одна из дельных причин нравственности, замечаемой путешественниками в России».

Далее возразитель входит в некоторое разногласие с Французским автором, по предмету знаменитого пожара

Московского. Впрочем, пока история в свое время не произведет над этим запросом окончательного следствия, в котором нельзя было ей приступить по горячим следам, еще много будет разногласия в суждениях по этому делу. Всякий, по личным видам, мнениям, догадкам, вертит его по своему и все без удачи. Во всяком случае можно, кажется, заметить: пожар не был следствием общей херы, принятой жителями единодушно. Начальство, то-есть граф Ростопчин, имело, без сомнения, желание предать неприятелю Москву не иначе, как объятую пламенем; но до какой степени сам Ростопчин мог привести это предположение в действие, и привел его, это остается еще донныне историческою тайною. Когда Москва загорелась, в ней почти вовсе не было хозяев домов, и вероятно никто, выезжая из города, не оставил дворнику приказания зажечь дом свой, по вступлении неприятеля. Самое действие пожара, в отношении пользы, принесенной им делу спасения отечества, подлежит еще исследованиям. Если, как единогласно признано, одна из существеннейших причин гибели Наполеона в России было долгое пребывание его с войском в Москве, то как почитать пожар столицы средством, в тому содействовавшим? Он бы должен был, напротив, вытеснить из стен горящих врага, помышлявшего о покое, и устремить его по следам нашего отступившего воинства. С другой стороны, если смотреть на пожар единственно как на решительную демонстрацию, то нельзя согласовать соразмерность средства с целью. Наш соотече-

ственник совершенно прав, когда отвергает предположение путешественника, что граф Ростопчин мог быть в этом случае слепым орудием Английского министерства. Французским политикам мелкого разбора везде мерещится Английское золото и коварство Альбиона.

Вот чем Русский автор противоречит мнению Французского о бедности нашей драматической литературы. «Неоспоримо», говорит он, «что многие из трагедий Русских не что иное как переводы, или списки лучших Французских трагедий, но и сии последние не все-ли почти заимствованы у древних, не только в окладах драмы, характерах, мыслях, но даже большею частию и в содержаниях своих? Аристотель не правит-ли еще и ныне драматическим Парнассом Франции? На сто трагедий, составляющих список театров обеих столиц наших, треть из них не принадлежит-ли истории народной, подражаниям Англичанам и Немцам? Переводы Французских трагедий не лучшие произведения наши, а истинно превосходные творения наши суть народные трагедии Озерова и Крюковского. они достойны внимания, особливо человека с дарованием, каков автор *Людовика IX*. Что-же касается до препятствий, преграждающих рождению комедии народной, признаюсь только, что затруднение существует, но препятствия не могут быть почитаемы за необоримые. Непреступная неприкосновенность (*l'inattaquable inviolabilité*) царедворцев, вопреки предположению автора, не столь важное преткновение.

К тому-же, драматическое творение не есть сатира личная, и у нас много комедий, в коих выставлены на сцену пороки людей должностных, лихоимство судей и проч. Бывали также примеры, что люди в почестях высоких узнавали себя в некоторых комедиях; но правительство допускает существование произведений, представляемых с согласия театрального управления и так сказать под руководством саванников государственных, коим обыкновенно оно вверяется. Смею даже сказать, что цензура драматическая в России независимее Французской. *Женитьба Фигаро*, запрещенная в Париже, разыгрывается в Петербурге даже с славным своим монологом. Г-н Ансело, мало знающий дворянство губерний наших, столь многочисленное, совершенно отличное от высшей аристократии и коего нравы обозначены отпечатком решительно своеобразным, полагает, что комедия искала-бы вотще смешных недостатков, для обличения их на сцене; но в этом отношении он может быть уверен, что предстоит для человека с дарованием поле обширное, на коем он может пожинать с успехом. Удачные комедии Фон-Визина, князя Шаховского, Грибоедова и проч. и проч. ручаются за достоверность слов моих; первый, в своем *Недоросле*, изобразил воспитание деревенского дворянина с истинною классическою; *Бригадир* его также произведение совершенно народное. Князь Шаховской, автор более пятидесяти театральных творений, представил провинциального дворянина со всеми странностями, ему свойственными, в прекрас-

ной комедии своей *Полубарские Затеи*. Наконец г-н Грибоедов явил доказательство истинного дарования остроумнейшею картиною смешных причуд гостиных наших».

В примечании соотечественник наш распространяется в похвальной отзыве о комедии *Аристофань* и жалеет, что г-н Ансело не знает её, потому что она истинно мастерское творение (*un véritable chef-d'oeuvre*). Во всех этих замечаниях о театре нашем, кажется, возразитель имел в виду более Французов, чем Русских, и был увлечен патриотизмом, извинительным перед чужими. Дома можно указать на некоторые обчеты в исчислениях его. Где эти сто трагедий, которые играют на театрах наших? Где наши подражания Немецким и Английским трагедиям? За исключением *Орлеанской Девы*, нет ни одного. Литтературные бюджеты, как и другие, не всегда верны при проверке действительности, и тут часто на бумаге много, а на лицо мало. В трагедиях Озерова только одна народная, и та не лучшая; Крюковского трагедия, будь сказано между нами, довольно слабая Французская трагедия, в которой много прекрасных Русских стихов. Комедия Грибоедова не есть еще принадлежность Русского театра и, следовательно, не может здесь идти в дело. В *Полубарских Затеях* много забавного, но комедия сама по себе не образцовая. Париж видит ежемесячно на маленьких театрах своих явления такого рода. *Транжирин* – переделанный на Русские нравы Мольеров: *Мещанин во дворянстве*; только у Мольера более истинного остроумия и комической соли.

Комедия *Аристофан* также еще не напечатана и потому рано говорить о ней критически; но, кажется, можно без греха сказать заранее, что это творение, совершенно Греческое на Русском театре, было бы совершенно Русским на Греческой сцене. Впрочем, все это, повторяю, будь сказано между нами: Французам это не нужно знать. Чего их жалеть? Пиши более! говорил Суворов при составлении реляций о потерях неприятельских. Можно сказать: пиши более! чего их советиться? когда считаешь богатства свои перед иностранцами. Только беда в том: у Французов есть книга под названием: *Иностранный театр*; в нем бедность наша наголо и нам нельзя уличить их в злонамеренном обнажении. Они вывели нас, в чем застали.

«На поверку», говорит наш соотечественник, заключая книжку свою следующими словами: «должно по справедливости признать некоторое достоинство в книге г-на Ансело. — Но он сам почувствует, надеюсь, что книга, почти экспромтом написанная во время шестимесячного пребывания посреди вихря празднеств, не может иметь права на совершенство. Я не сравню его с толпою других путешественников, которые, пробыв несколько лет в России, вывозят из неё воспоминания ненавистные, не находят в ней ни единой добродетели, ни единого доброго качества, и чтобы казаться более интересными, спешат унижить и оклеветать тех, у коих обрели они искренное благородное гостеприимство.

Но если бы мне случилось писать о нравах и обычаях на-

рода какого бы ни было, не вдаваясь в общие применения, я строго устранял бы исключения и не терял бы из вида, что мы все человеческого рода и друг другу подобны, не смотря на легкие оттенки.

Впрочем, дай Бог, чтобы все те, кои пишут, или будут писать о России, походили в отношения дарования и праводущие на г-на Ансело. Но, повторяю, пускай не торопятся они, чтобы не заслужить упрека в пристрастии или легкомыслии. Книге г-на Ансело не достаёт, без сомнения, одной зрелости, а она приобретается только долгим пребыванием; и потому почитаю себя в праве заключить тем, что шести месяцев не довольно, чтобы узнать государство».

А тебе довольно ли моих писем, чтобы узнать книгу г-на Ансело?

Г. Р.-К.

Примечание. В *Телеграфе* подписывал я иногда статьи мои этими тремя буквами, чтобы сбивать с толку Московских читателей. Эта подпись должна была означать приятеля моего Григория Римского-Корсакова, очень всех в Москве известного. Сам он не был литератором, но был вообще литературен, любознателен и в приятельской связи с образованнейшими людьми своего времени. Он несколько годов провел во Франции и в Италии: и по возможности изучил политические и общежительные свойства той и другой страны. Другие статьи в том же *Телеграфе* подписывал я буквою А, что означало Асмодей, мое Арзамасское прозвище. Бывали статей-

ки мои и за подписью *Журнальный същик*. Но здесь встречались и *контрафакции*, подделки. Сам издатель *Телеграфа*, или другие, тайные по особым поручениям чиновники его, подписывались под мою руку. Так, что я, перелистывая *Телеграф*, не могу теперь заподлинно знать про иную статью, моя ли она, или нет. Подобные мелкие журнальные неприятности, а более всего крутой переворот в литературном направлении самого издателя, побудили меня совершенно отстраниться от всякого участия в *Телеграфе*.

1875